

ОБРАЗ «ДРУГОГО» В СОЗНАНИИ РУССКОГО ЭМИГРАНТА В МАНЬЧЖУРИИ (1920-1930-Е ГГ.)

Складывание мощной российской эмигрантской диаспоры на территории Маньчжурии, достигавшей в начале 1920-х гг. по некоторым подсчетам 400-500 тыс. чел¹, актуализировало проблемы межэтнического взаимодействия, формирования образа «другого» в условиях этнически и культурно чуждой для русских среды. Образ «другого» можно рассматривать как нечто противоположное образу «себя», выраженное в наборе характеризующих действительные или мнимые черты чуждого окружения представлений. Формирование образа «другого» (а составной его частью является и образ «врага») процесс сложный и неодномоментный. Набор составляющих элементов этого образа может в известной мере варьироваться в пределах различных групп изучаемого сообщества, и даже в пределах территориальных рамок размещения эмигрантской диаспоры. В частности, важно отметить, что формирование образа «другого» в среде российской эмигрантской диаспоры в Харбине, являвшимся, по сути, русским городом с соответствующей этнокультурной атмосферой, в известной степени отличалось от того же процесса в среде русского населения в зоне КВЖД и тем более за ее пределами.

В рамках настоящей статьи мы делаем попытку обозначить некоторые черты образа «другого» в сознании русского эмигранта Маньчжурии в отношении китайского и японского населения. Основным источником для нас явился дневник Иосифа Сергеевича Ильина². Выходец из дворян, он окончил Морской кадетский корпус и военное училище, участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах, в чине полковника армии А.В. Колчака, он вместе с семьей эвакуировался в Харбин в феврале 1920 г. Дневник И.С. Ильина вещь по истине уникальная как по объему информации (более десяти толстых тетрадей), так и по временному охвату – 1920-1938 гг., то есть большая часть четвертивекового периода существования российского эмигрантского сообщества в Маньчжурии.

Дневник, являясь источником глубоко субъективным, между тем, как отмечают работающие в рамках феноменологической парадигмы авторы, содержит оценочную информацию, замкнутую на ценностно-смысловой горизонт той социальной (этносоциальной) группы, к которой принадлежит автор³. Данное утверждение вполне подтверждается сравнением оценочной информации дневника Ильина с информацией других видов источников

¹ Подробнее см.: Аблова Н.Е. Образование российской эмигрантской колонии в Маньчжурии. Численность, национальный и социальный состав (1920-1940) // Россия в XVIII-XX вв. Страницы истории. М., 2000. С.202-215.

² Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.Р-6599. Оп.1. Ильин И.С. Д.2-14.

³ Подробнее см.: Голофаст В.Б. Многообразие биографических повествований // Социологический журнал. 1995. №1. С.71-89; Сивирин В.С. О феноменологической интерпретации социальной реальности // Социс. 2001. №10. С.26-35.

личного происхождения, исходящих из эмигрантской среды, таких как мемуары, воспоминания, биографические интервью.

Дневник Иосифа Сергеевича начинается описанием прибытия семьи Ильиных в Харбин в феврале 1920 г. Город чужой для них, как и для тысяч других беженцев, где нужно было начинать свою жизнь едва ли не с нуля, но в то же время русский город, *«сохранивший в полной неприкосновенности весь старый русский быт. Словно под стеклянным колпаком в каком-нибудь музее»*⁴. Русский характер Харбина, сохранение здесь прежнего социального и культурного контекстов, а также нежелание (а иногда и неспособность) китайских властей активно вмешиваться в жизнь русской колонии способствовали тому, что в эмигрантском сознании в отношении китайцев не оформился четкий образ «другого». Китай выступал скорее фоном, на котором развивалась жизнь русской колонии, нежели структурообразующим элементом социально-культурной реальности⁵.

В первые месяцы и даже годы жизни в Харбине Китай и его жители почти не отражались на страницах дневника Ильина. Редким исключением явилось описание поездки в китайскую часть города – Фудзядань, как кратковременное пребывание в совершенно ином мире, оставившее между тем незначительное впечатление. Позиционирование в рамках дихотомии «мы – они» происходило прежде всего по линии «эмигранты-беженцы – русские старожилы Харбина». Февраль 1920 г.: *«...Я до сих пор не могу свыкнуться с Харбином и здешней жизнью. Тут живут так, как будто ничего и не произошло... Мы явившиеся «оттуда» столь неожиданно просто какие-то диких звери, или особой породы люди! ...я стал замечать, что в душе начинает пробуждаться чувство... похожее на своего рода большевизм, а именно: озлобление против всех этих людей, ничего не испытавших, ничего не видевших, ничего не потерявших!»*⁶. Октябрь 1920 г.: *«Жизнь в Харбине идет каким-то двойным путем. Прежде всего, сохранившийся... почти в полной неприкосновенности старый Харбин со всем своим бытом, укладом жизни, со своим течением дней, месяцев, гг. Другая [часть] – мы беженцы. Как будто бы внесли оживление, как будто бы с нами хлынула и известная культура, ведь тут в Харбине ни в одном доме нет ни одной книги кроме «Нивы» и приложений!»*⁷.

К середине 1920-х гг. ситуации в бывшей полосе отчуждения КВЖД значительно изменилась. После падения последнего «белого острова» в России – Приморья в 1922 г. и эвакуации в Китай нескольких десятков тысяч человек численность российской эмигрантской колонии в целом стабилизировалась, а различия между беженцами и старожилами значительно сглади-

⁴ ГАРФ. Ф.Р-6599. Оп.1. Д.8. Л.1.

⁵ Характерны в этом отношении воспоминания бывших русских эмигрантов, в которых китайцы выступают неперменной составной частью русского социально-культурного пространства, наиболее активно контактируя с русскими в производственной и бытовой сферах, приспособляясь к их интересам и запросам. См., напр.: Дземешкевич Л.К. Харбинские были. Омск, 1999; Медведева Е. Добрососедство (бытовые зарисовки) // Проблемы Дальнего Востока. 1994. №2. С.91-98; материалы газеты «На сопках Маньчжурии» (Новосибирск), и др.

⁶ ГАРФ. Ф. Р-6599. Оп.1. Д.8. Л.6, 7.

⁷ Там же. Л.66.

лись. В то же время советское правительство начало наращивать свое экономическое и политическое присутствие в регионе, что выразилось прежде всего в восстановлении позиций российской стороны на КВЖД. Усиление советского присутствия привело к поляризации российской колонии в Маньчжурии на сторонников советской власти и ее противников. Ильин отмечал в конце 1924 – начале 1925 гг.: *«Боже, как изменились вокруг лица! Глаза бегают, вид испуганный, разговаривать боятся, некоторые сторонятся! Говорят, что у многих давным-давно припасены совнаспорта и, главным образом, среди тем, кто больше всех кричал о „непримиримости“»*. *«Берут паспорта генерал Касаткин, Бутов, Богданов, Зефиоров – все омищи... китайских подданных, дай Бог, чтобы набралось до двух тысяч, вся же масса стремится осоветится»*⁸.

На протяжении 1920-х гг. китайцы в качестве объекта «другого» появляются на страницах дневника Ильина лишь несколько раз. При этом никакого более или менее четкого образа с соответствующим набором характеристик и черт мы не видим. Так, за пределами Харбина китайцы выступают, как нечто чуждое русским в социально-культурном отношении. Во время поездки в Северный Китай в 1926 г. Ильин отмечает: *«милый Харбин, это подлинный русский город по сравнению с тем, что делается здесь..., со всех сторон выпирает китайщина»*⁹. В периоды обострения отношений между русскими и китайцами эта чуждость перерастает во враждебность, и китайцы приобретают характерные черты образа «врага». В начале 1920-х гг. после отмены особых прав для русского населения в Маньчжурии оно стало на некоторое время объектом разнообразных злоупотреблений и насилия со стороны китайских властей, что весьма болезненно воспринималось эмигрантской общественностью. В частности, Ильин неоднократно с горечью подчеркивает полное бесправие русских и неприязненно отзывается о действиях китайских властей. Похожая ситуация складывается в 1929 г. в период советско-китайского конфликта вокруг КВЖД, вылившегося в крупномасштабные военные действия на китайской территории. Ильин отмечает, что *«по городу ходить можно только до 12 ночи, так как объявлено военное положение.... Ежедневно грабежи, побоища и насилия...»*¹⁰. И дальше особенно показательно: *«„конфликт“ кончается далеко не благополучно для китайцев. И вот странное ощущение еще раз: с одной стороны радуешься, что красные не добрались до Харбина, с другой как приятно, что китайцы побеждены русскими...»*¹¹.

По-другому обстояло дело в отношениях между русскими эмигрантами и японцами. В 1920-е гг. эмигрантское сознание практически не выделяло японцев как особый элемент социально-культурного пространства Харбина. Дневник Ильина в этом отношении, несмотря на субъективизм оценок, дает нам неоценимый материал об эволюции представлений и складывании образа японца и Японии в сознании русского эмигранта. Начиная с

⁸ Там же. Л. 226, 237.

⁹ Там же. Д.9. Л.12.

¹⁰ Там же. Д.10. Л.88.

¹¹ Там же. Л.99.

1926 г. Ильин достаточно тесно контактировал с японцами сначала в Харбине, а затем в Чанчуне. В 1926-1928 гг. он работал в Русско-японском институте в Харбине и Японском консульстве. Заподозрить Ильина в ненависти ко всему японскому очень сложно. Он с интересом занимается изучением японского языка у жены заведующего библиотекой ЮМЖД Курио, хотя и не воспринимает это вполне серьезным занятием. Составляет сборник японских сказаний (по-видимому, используя перевод-подстрочник), который в дальнейшем был издан. И в то же время японцы для Ильина, в отличие от китайцев, выступают чем-то устойчиво противоположным, чуждым и в дальнейшем даже враждебным русским. В 1937 г. Ильин пишет: «...Японцы очень тупы и неодаренны. Они берут сухой зубрежкой, упорством и нечеловеческой усидчивостью. В японском классе не чувствуется даровитости, блеска, интереса к формам жизни, к окружающему миру...»¹². И несколько дальше: «...японцы очень внимательны, стараются, но необычайно тупы и это очень чувствуется. Наши русские головы совсем другое: я помню простых полуграмотных солдат, юнкеров в школе прапорщиков с 2-4 классами начального училища – никакого сравнения! Чувствуется что-то живое; понимание, быстрая любопытствующая мысль, сообразительность, острота смысла, а у этих ничего!»¹³.

В дальнейшем негативизм в оценках японцев на страницах дневника Ильина еще более возрастает. В 1928-1929 гг. Иосиф Сергеевич служил в Чанчуне чиновником особых поручений при Квантунском генерал-губернаторстве. Чанчунь после русско-японской войны 1904-1905 г. имел большое значение для японцев, являясь начальным пунктом Южно-Маньчжурской железной дороги, и потому японское влияние здесь было весьма сильным. Чанчунь для Ильина явился чем-то противоположным Харбину, с крайне редким русским населением, «влачащим жалкое существование и еле зарабатывающим себе на пропитание. Все, что было маломальски более энергичного, или все, кто имел хоть малейшую возможность, отсюда выбрались в Харбин, Шанхай, Тяньцзинь»¹⁴. Главную причину такого положения дел Ильин, по-видимому, видит в японцах, поскольку «лучшего всего у них уживаются люди абсолютно аморальные и подлые, чем, кажется, хуже человек, тем он пользуется большим фавором у японцев!»¹⁵. Проживая в Чанчуне, Ильин дает несколько дополнительных характеристик японцам. «Вообще у японцев шпионаж всюду и везде и где только можно они имеют «осведомителей». ...следят за всеми, никому не верят, следят даже друг за другом!»¹⁶. «У японцев нет ни малейшего гражданского мужества – они низки и подлы, покрывают друг друга и никогда не признаются до последней возможности в совершенном поступке»¹⁷. «...нет и скромности – японцы страшно мнят о себе, необыкновенно самонадеянны и хваст-

¹² Там же. Д.9. Л.8.

¹³ Там же. Л.101.

¹⁴ Там же. Л.152.

¹⁵ Там же. Л.158.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же. Л.230.

ливы... Больше: они считают, что японский народ будущий владетель мира и верят в японский мессионизм»¹⁸.

В конце 1931 г. японская Квантунская армия оккупировала Маньчжурию, инициировав здесь создание нового государства – Маньчжоу Го. Российская эмигрантская колония неоднозначно восприняла японскую оккупацию и образование нового государства. Определенная часть рядовых эмигрантов и представителей политической элиты восторженно реагировали на все происходившее. Харбинские газеты писали о новой жизни маньчжурского края, о высоком энтузиазме жителей в создании нового государства. Ильин отметил в марте 1932 г. в своем дневнике: «...в день прихода японцев целая группа русских, среди которых были студенты, пресловутые фашисты и различные «монархисты», перед японским консульством орали «банзай» и махали японскими флагами...»¹⁹. На коронации императора Маньчжоу Го Пу И с верноподданническими заявлениями выступили генералы В.А. Кислицин и Г.А. Вержбицкий, архиепископ Мелетий и др. Белоэмигрантские идеологи В.Ф. Иванов, В.В. Энгельфельд превозносили государственный строй Маньчжурской империи как образец для «освобожденной России»²⁰. Другая часть эмигрантов отнеслась к изменениям в Маньчжурии весьма настороженно, воспринимая их даже как угрозу существованию русской колонии. К этой группе принадлежал и И.С. Ильин, который считал, что «приход японцев знаменует для русских [для России – С.С.] совершенную и навсегда потерю Маньчжурии и что японцы нас тоже отсюда выжмут, но только уж наверняка, не дав нам возможности попросту тут существовать...»²¹.

Реформы первой половины 1930-х гг. в Маньчжурии, проводимые японской администрацией, показали, что цели, которые преследовали японцы далеко не всегда и не во всем соответствовали устремлениям российской эмиграции. Стремясь использовать антисоветский потенциал эмиграции японские военные власти, не учитывая интересы русского населения, начали подталкивать процесс политической консолидации этой в сущности разрозненной и пестрой массы. Такая политика отрезвила многих, кто ждал от японцев гарантий прав русского населения в пределах Маньчжоу Го как национального меньшинства. С середины 1930-х гг. начался интенсивный отток русского населения из Маньчжурии.

Изменение ситуации в Маньчжурии, в очередной раз создавшей препятствия для нормального существования российской эмигрантской колонии, способствовало изменению, как образа «себя», так и образа «другого» в эмигрантском сознании. На первый план в эмигрантском дихотомичном противопоставлении «мы – они» выходят японцы, приобретающие в течение 1930-х – начале 1940-х гг. все более устойчивую маркировку в образе

¹⁸ Там же. Л.234.

¹⁹ Там же. Д.10. Л.189.

²⁰ Говердовская Л.Ф. Общественно-политическая и культурная деятельность русской эмиграции в Китае в 1917-1931 гг. М., 2000. С.89.

²¹ ГАРФ. Ф.Р-6599. Оп.1. Д.10. Л.175.

«врага». В данном случае дневник Ильина при всей его индивидуальности²² демонстрирует дальнейшую эволюцию, характерную для сознания русского эмигранта.

Первой отличительной чертой записей Ильина 1930-х гг. является практически полное неприятие проводимых японскими властями преобразований в Маньчжурии, которые рассматриваются как постепенное наступление на права русских эмигрантов и угрозу самому существованию русской колонии. Описывая приезд в Харбин в январе 1933 г. главнокомандующего Квантунской армии, когда жизнь всего города была буквально парализована, улицы перекрыты, лишнее население с улиц удалено, закрыты магазины, кафе, парикмахерские и т.д., Ильин отмечает: *«не подлежит никакому сомнению, что деление на расы – белую и цветные не напрасно. По своим умственным, духовным и моральным качествам белая раса стоит на высшей ступени и уже за ней располагаются все остальные...»*²³.

В 1935 г. в Маньчжурии создается Бюро русских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ), в функции которого входило представление интересов эмигрантов перед властями и консолидация эмигрантского населения для участия в реализации общегосударственных задач. Каждый эмигрант должен был зарегистрироваться в Бюро, а поскольку многие не спешили с регистрацией Бюро, по словам Ильина, *«пустилось на провокации и угрозы... Теперь оказывается каждый не зарегистрированный военный будет рассматриваться как вредитель... Картина ясная – желание стоящих за спиной [Бюро] во что бы то ни стало заставить русских стать на сторону тех, кто является хозяевами положения... Тут расчет такой: напугать, чтобы все бросились регистрироваться и тогда инсценировать эмигрантскую «сплоченность» и из нее состряпать покорную, послушную, не столько лояльную, но и услужливую толпу... Ужасно жить в такое время, еще горше, что родился русским»*²⁴.

В 1936 г. Ильин пишет о беззакониях, которые творят японцы, обсчитывают, обманывают, недоплачивают, и *«все их начинают ненавидеть»*²⁵. *«...Вообще арестовать может всякий – и чиновник, и служащий магазина, и полицейский, и жандарм, и солдат – лишь бы это был японец!»*²⁶.

В 1936 г. для населения Маньчжоу Го были введены обязательные курсы военной самоохраны. Ильин писал по этому поводу: *«Завтра в субботу будем с шести вечера сидеть как кроты запершись в одной комнате с завешенным окном. Три ночи подряд жизнь в городе должна прекратиться. Люди да 45 лет, занятые в военной самоохроне, целую неделю в форме бу-*

²² Необходимо отметить, что в 1930-е гг. Ильин в своем дневнике все меньше уделяет внимание собственной личности, стремясь, прежде всего, «объективно отражать события данного времени, записывать беспристрастно происходящие вокруг события».

²³ ГАРФ. Ф.Р-6599. Оп.1. Д.2. Л.6.

²⁴ Там же. Д.4. Л.7 об, 9 об.

²⁵ Там же. Д.3. Л5 об.

²⁶ Там же. Д.5 Л.91 об.

дут носиться из одного конца города в другой, оторванные от службы, работы; и за это им не дадут ни гроша»²⁷.

Еще несколько зарисовок 1936 г. «С 1 января часы переводятся на час вперед... Переставлять же время только потому, что в Токио оно на час с лишним разнится столь же логично, как если бы захотеть жить по нью-йоркскому времени и просто приказать всем работать ночью, а спать днем! Трудно представить до чего могут прийти обезьяны, когда вдруг начнут себя воображать людьми»²⁸. «Дождались и школьной «реформы», начало учебного г. теперь будет с 1 января... Русские эмигрантские школы никаких субсидий не получают, денег им никто не дает, а вот приказывать им выполнять идиотские реформы приказывают...»²⁹. В 1937 г. школьная реформа вновь отразилась в дневнике: «...Итак, принялись вплотную за школы. Все необыкновенно просто и ясно: все школы должны быть одного типа, с общей программой и одним языком – японским!!» Японский представитель на собрании директоров всех школ «подчеркнул о неумении русских воспитывать своих детей, что видно хотя бы по тому, что среди русской молодежи необычайно много наркоманов...»³⁰.

Ильин пишет о постоянно увеличивающихся поборах с населения, росте цен, сравнивая их с ценами при китайской администрации. 1937 г.: «Жизнь подорожала на 50-70%. Линия замерла совершенно. Станция Яомынь, например, сейчас мертвой лежит и по выражению одного железнодорожника, только что там побывавшего, словно корова языком слизнула все бывшее благополучие. Так везде и во всем»³¹. Вообще Ильин достаточно часто сравнивает жизнь при китайской администрации с нынешним положением, замечая, что «при китайцах не было ничего подобного, ибо не было благожелательной почвы. Да был произвол, взяточничество, может быть иной раз насилие..., но китайцы не вводили, да и по существу своему не могли ввести в систему подлость и провокации. Теперь для этого сложилась почва, опора и пожалуйста, немедленно пышным цветом расцвел цветок»³². На страницах дневника все чаще появляются уважительные оценки Китая и китайцев: «Как можно прожив долго в Китае не любить и не уважать эту страну. Китай мудр, мудр как глубокий старик, который все видел, все знает, все пережил»³³.

Второй важной чертой дневниковых записей Ильина периода 1930-х гг. является постоянное противопоставление русских и японцев, как противоположностей, антиподов. То, что характеризует японскую культуру, по мнению Ильина, это публичные дома и парикмахерские, возникающие сразу вслед за появлением японцев: «Оказывается тут в Ажихэ, на небольшой станции восемь публичных домов!!»³⁴.

²⁷ Там же. Л.8.

²⁸ Там же. Л.79.

²⁹ Там же. Л.71.

³⁰ Там же. Д.11. Л.55, 56.

³¹ Там же. Д.6. Л.35.

³² Там же. Д.4. Л.164.

³³ Там же. Д.5. Л.19.

³⁴ Там же. Д.13. Л.63.

При посещении в 1935 г. станции Ажикэ после продажи КВЖД советской стороной, автор дневника отмечает: *«Милое Ажикэ. Опять приехали сюда прожить деревенской жизнью полтора месяца. Но какая разница! В железнодорожном поселке тишина и мертвечина. Помню при русских: жизнь, что называется, кипела. Вечерами казенные флигеля светились огнями, слышались голоса, граммофон, пение, гуляли люди. В собрании полно народу... Теперь в этих квартирах поселились японцы. Они как кроты..., мертвый народ. Народ, лишенный всякой одухотворенности, жизни, талантливости. Придет и все умертвит»*³⁵. Зарисовки жизни Харбина второй половины 1930-х гг. носят тот же мертвящий колорит: *«Сейчас весь Большой проспект от Собора до Управления железной дороги, Собрания и Коммерческого училища [центр Харбина – С.С.] словно вымер. Никакой жизни, черные силуэты железнодорожных флигелей, редкий прохожий, шаги которого гулко раздаются в темноте...»*³⁶.

Ильин постоянно сетует на тяжелое положение эмигрантской общины, совершенно бесправной и беззащитной. И эта *«беззащитная и вымирающая эмиграция не только ничего не может сделать, но и не способна ни к какому протесту...»*³⁷. Все чаще его внимание обращается к России, единственно с которой он связывает будущее русских в Маньчжурии. Ильин радуется успехам советского оружия в столкновении с японцами на озере Хасан, замечая, что Россия *«возвратит японцев в прежнее естественное полудикое состояние, охладив их завоевательный пыл»*³⁸.

Эволюционирование представлений о японцах в сторону образа «врага» в эмигрантском сознании способствовало усилению симпатий в отношении Советского Союза, особенно с 1941 г., когда значительная часть русских эмигрантов встала на патриотические («обороннические») позиции. Часть эмигрантов наладили сотрудничество с СССР в деле борьбы с общим врагом. Неудивительным здесь выглядит и тот факт, что И.С. Ильин по некоторым сведениям также сотрудничал с советской разведкой, работая в 1941-1942 гг. в японской военной школе³⁹, а в дальнейшем выехал за пределы Китая.

³⁵ Там же. Д.2. Л.46 об, 47.

³⁶ Там же. Д.11. Л.44.

³⁷ Там же. Д.3. Л.71.

³⁸ Там же. Д.11. Л.36.

³⁹ Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в АТР и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000.